

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Он был убит[1]

От праха взят, ты снова станешь

прахом!

Но вечно ли? но весь ли я?

Мой взор,

Неведомым одолеваем страхом,

Таинственный читает приговор.

Ужели дух и мысли чада света

Не убегут тлетворного завета? А. Б.

* * *

Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду – и назад всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадил разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу: глаза закатились, не слышит, не дышит он... Рву сюртук, раздираю на груди рубашку: нет надежды! Свинец пробил сердце навывлет, самое сердце!! И еще около пас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти выстрелы, не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?

Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души – это гордое, выразительное лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир – тление – насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров».

Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки; на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.

И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!

И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул – и нет его! Забвение пожирает память, как смерть-существование; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса[2] из пепла, а забвение – безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно несытая пасть ничтожества. В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгинут: вот и все!

Безотрадная истина!

Впрочем, не все имена тонут в забвении. Конечно, не все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воздушном шаре переносит любимцев своих через море веков, но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана[3], ни петли Ваньки Каина[4]. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.

Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы? Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!

Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить прости мертвецу, но простаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был краскою, – о, это ужасно, это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.

Правда, ничто не вечно на свете, – не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлает, оледенеет, наконец, сам, и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей, и долго будет спать сам без действия, одетый кладбищем природы, как саваном, куда голос бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь.

Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш; свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. Все божеское и человеческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».

И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой, равенства, которое как меч Дамокла грозит пасть на все живое[5]. Миг или миллион лет – одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.

Ты сйончался для мира, и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями, – зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без

терзаний.

Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите или святой отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобще всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрадной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности не знаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святости в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме примера? И почему знать: может, эта живая, электрическая вязь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, скуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий, – может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателее всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.

Лестная мечта!..

Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, а не подслушанные светом новые мысли погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое – прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени, без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострастие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..

Отрывки

...Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания – цветы, но есть и воспоминания – раны. И эти раны растравляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно

ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный сонд любопытства проникает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженств, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «о, если бы он был теперь со мною!» и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его гибели? Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с, тобою или могло сбыться с другими, – и все воспоминания подымутся толпой, званые и незваные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Озарены бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка, но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос; их ласки обливают морозом... И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам[6]? чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна, когда у меня нет насыщенной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего; но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.

Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенести на бумагу, мы разрываем сердце, и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским, не заживят ран осиротелой почвы.

И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в былине, под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению – «как он мастерски прикидывается чем захочет! как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!».

И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплести ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б люди могли, не говорю – почувствовать, не говорю – рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи[7], напропитанной ядовитой мазью одежды, присланной ему коварною любовницею, – то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясение, а решились бы упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее, выражать все это, с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболепствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы я хотел выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом, – и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными

ногами.

Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном беспорядке разбросанных, наваленных одна на другую! Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногровая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит живой ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены, – это совесть! Пойдите: слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, по диких, но и безыскусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем пет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия – и душою отдыхать у нагорья собственного сердца!

Но сочинять для света!.. И еще для нынешнего света! Тяжкая служба. Имя сочинителя более требует наличными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо, – ведают ли они, сколько надо испытать, почувствовать, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притупленный вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез, реки слез, море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить, чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни? Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг. Он будет смеяться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам критикам объедки твоего полубожеского мозга.

Писать, печатать для света, предавать себя тиснению! Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчера он был властелином своих мечтаний, – потому что не пускал их в люди.

Сегодня напечатал их – и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчера он был отличный офицер, дельный чиновник, смысленный человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель! он поэт! Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери: на его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, – именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его

любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час[8], упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения – и ты баловень лучшего общества, ты званый, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света!

Знаете ли ж вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, что поэт, гость высшего круга, – его игрушка?[9] Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прослыть меценатами[10] за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению: и я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы[11]? И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувыркатся и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это – давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки, – с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?

Правда, обаятельна атмосфера большого света? лепет гостиных игрищ, как музыка Россини [12]. Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены[13] самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет выложен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод, – и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роля для других, жалка доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка, которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение, – для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями, сводят на спор с каким-нибудь шутком, мистифируют в глаза, а чуть он за двери – давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелками злословия.

– Какие допотопные приемы!

– Да-с, это древнее петербургского наводнения.

– Говорят, поэзия – язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.

– Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.

– Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! *C'est une sommite litteraire*[14], а верхушки гор всегда облечены туманами.

– Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.

– Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.

– Скажите, ради имени Виктора Гюго, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?[15]

– К болотной-с. Он родился на тундрах новгородских.

– Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского

словаря.

– Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.

– Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.

– О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!..

– Что я бы представил его в брандмайоры, не правда ли, княжна? Такой несгораемый человек, без проти-вуогненного прибора, – находка для пожарной команды.

– Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь – его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».

– В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр[16], княжна!

– Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунсткамеры.[17]

И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко – и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, ответит взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным... и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. «Ведь читали же когда-то этого *** ва!» – скажет он; или: «слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтер Скоттом!»

И эти вздорные толки огорчат тебя – тебя, напоенного сладкой росой небес? И булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы? Стыдись! Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные созданы для забавы умных: играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей, собирай оброк с его странностей, с его нелепостей, с его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней с знатью и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища, – единственное средство узнать таинства палат, услышать речи их жильцов без прикрас, застать лица без румян, а сердца без манжетов, – то стань богат.

Что слава? Яркая заплата[18] На бедных рубищах певца. Нам нужно злата, злата, злата! Копите злато до конца.

Проклятый металл, это золото, неутрачивающий напиток ада! Напрасно промысл схоронил его глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгой из тьмы, оно каторга для света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм[19]. Правда, на нем нет и не может быть ржавчины, – но сдается, будто он сыр тяжким потом, будто каплет кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотое ли было яблоко грехопадения? Не оно ли, разбившись в блестящие кружки, раскатилось по свету! Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам: я не нагнусь ни за одним. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но, любя роскошь, умею и умерять свои прихоти, потому что легче стерпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотения. Верю, что многие имеют много, – никто доволен; зато верую твердо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно наместить дорогу куда угодно; им можно купить людей. Вы

делаете слишком много чести людям, друзья мои: стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высиженную зевотою? За пожатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с рукавами а la jolle[20]? Люди готовы продавать, передавать друг друга и сами себя; жаль, что я не торгаш и не покупатель тел и совестей, и, признаюсь, по самому верному расчету: тот, кто отдает себя напрокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей! знаю до подноготной. Плюй им в лицо, только золотом, и они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличает из барыша, нежели тот, кому лесть и ползание нужны как хлеб насущный.

А между тем золото – солнце большого света: только в его лучах замечают достоинства, только в его призме исчезают недостатки. Блесни оно, и ему навстречу все за-чиликают, как пташки, и лица красавиц распускаются улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли. Золотой мешок – идеал красоты, колодезь ума, Протей любезности[21]. У богача все мерзости – извинительные, все ошибки – образцовые, все дела достойны подражания, а слова – памяти. И постичь я не могу и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие: один учит, другое веселит вас. Уважайте силу, – это естественно: она может защитить или истребить вас. Но ради самого Маммона[22] скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны, и умильные облизни, и одобрительные усмешки? за все ваши поддакивания и наглую лесть? Что? Стол его без прибора для тех, которые целят пообедать, а не лакомиться. Круто его крыльцо для чахоточной груди искателей покровительства. Крепки затворы сундуков: кошелек завязан гордиевым узлом на ссуду. Сердца не размочить и слезами. Оно – глыба земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зернышка. И пусть я стал подобным этому истукану – богачом; и пусть я топчу всю тяжесть золота прежних своих совме-стников; мне поклоны гордецов; мне ласки милых; для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест; для меня тратят, наконец, все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев; но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с чужими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете: он видел меня – и не заметил. Красавицы меня слушали – и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо, был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обоготворять их, отдать за их любовь не дрянное золото, а кровь сердца, покой души, самое небо.

И все это миновало! Не воскресить юности дождем Данаи[23]. Прочь, змей-искуситель, прочь! Ты мог бы обольстить меня в моем раю, в моей юности; но теперь – уж поздно. Не верю я светской дружбе, – еще менее светской любви; дружбе, которая ступает с гривны[24] на гривну; любви, прилетающей не иначе, как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетаает парами. Теперь дорылся я до грязи, которою питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истины без покрова. Страсть к богатству, змей-искуситель, язви меня в пятую: она на голове твоей! До сердца моего тебе не достать.

Но неужели в этом мире нет ума, чье одобрение лестно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден? И поэт, ты схоронишь в землю дар небес, талант свой? И человек, ты выбросишь душу в пустыню без сочувствия? Неужели не одушевляет тебя мысль, что пылкий юноша за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой, светский человек – званный пир, красавица – час свидания? Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове еще самому себе незнаемому поэту, очистят огнем своим душу власто – или корыстолюбца, пробудят сладостные, святые чувства в груди невинной девушки?.. Может быть, она задумается над твоими мечтами, и ее прелестные томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, проникающий весь ее состав, вспыхнет на сердце мыслию: «Как страстно любит он! Как, должно быть, приятно быть так любимой?.. О!»

Второй отрывок

Вы хотели этого, жестокие друзья, – и я увидел ее, да! я был с нею, я обворожен ею. Но разве не видали ее вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотой Лилии, или ума – постичь, или сердца – полюбить ее? Счастливые слепцы! Хладнокровные... Нет, мало этого, – бескровные счастливыцы! Вы знаете Лилию давно и можете преспокойно, пребеззаботно спрашивать товарища: «не правда ли, она недурна?» – точно так же, как вы бы спросили: «не правда ли, что этот фазан недурно зажарен?»; можете произносить ее имя, не трепеща от удовольствия, не бледнея от ревности! И все равно для вас, скажет ли он да, скажет ли он нет, и как произнесет он свое да или нет; все равно, если тот и ничего не ответит. Недурна! Только недурна? Боже правды, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное – лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Недурна! Жалкое наречие привычки!

И между тем где сам я найду слов девственнее снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле? где возьму имен, достойных ее, не растленных еще дыханием человека? Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности? Ожерелье распутницы! Ковер для вытирания ног! Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин распустили вы в дрянном укусе! сколько звезд утопили в луже!

Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима! Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить.

Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здоровыми познаниями? как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних пташек – обольщений? Эти воробьи расклеивают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распалая воображение пряностями похвал, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастью не разучилась природе в большом свете, который есть ложь и притворство во всем, начиная с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому, с эмалевыми часами на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиною траурного хвоста, – в свете, где приветы, и слезы, и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее? Ты не так, Лилия? Покорная влиянию минуты, ты смеешься от сердца, не прячешь и не выказываешь слез умиления, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотой, можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя?

А я? Странно, непостижимо это, едва ли вероятно; мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел ее сердцем, а не глазами! будто не зрение отразило ее милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах! Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвел вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не мое ли сердце было его отчизною? Так коротко знаком и родственен мне этот пленительный образ. Миг, в который я взглянул на Лилию, обдал меня всею свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинствен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. «Увидеть» было близнецом «полюбить», – но какое сравнение передаст неделимость, одновременность этого чувства??...

И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение; да! тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно каплей света чуть брызнуло на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля, блещет, зажигает небосклон, объемлет и пронзает землю лучами, топит ее в волнах тепла и света. Так вошла в моей душе роковая звезда этой страсти, не слышимая, чуть видная при восходе, светлая и пламенная потом. Теперь стоит она на своем бестенном полудне, и никогда, никогда не сойдет она с полудня.

Одна смерть будет ее вечером; ее закат – могила; ее могила – вечность. Жизнь моя прервется ранее любви... Дайте мне уверовать хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя?..

И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилиею? Зачем вниманием крепил на себя чары ее слов, упивался огнем ее глаз – огнем, затепленным прямо на солнце? И сколько раз с орлиною дерзостью хотел я взглядеться в них, – хотел и не мог! А между тем у ней очень кроткие взоры: они не пронзают, а только ласкают сердце, и, как ароматная слеза, канают в глубь его. Индейцы верят, будто жемчуг рождается от капель дождя, запавших в морские раковины; и почему ж нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценные для меня взоры Лилии. В них мое сокровище, в них единственный подарок милой, и могу ли ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением! И к чему послужило бы оно, что могу я высказать ей словами, если она не поняла моих взоров?

Мне казалось, однако ж, эта задумчивая грусть, этот летучий румянец, этот голос, прерванный вздохом... Нет, Лилия, нет; все это мечта самолюбия. Ты не должна, ты не можешь любить меня: природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно еще умолить людей, можно покорить себе обстоятельства, но самый огонь неба не силен спясть булата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжет твоего воздушного состава; не кровь, а свет льется в этих жилках; твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторгов страсти. О, не понимай моих взоров, Лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности! Нежный цветок Севера, ты увянешь под моим знойным дыханием. Я истерзаю тебя ревностью, истомлю своими бешеными ласками, сокрушу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума, будто я могу быть счастлив твоею безмятежною любовью, Лилия; будто моему усталому, разбитому бурями сердцу-горюну отрадно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги, зыблясь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица, я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропилом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святости, перед тобою тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И отчего все это?.., отчего? От ресниц, стыдливо опущенных, от косынки, сплхнутой ветром, от колебания локона, который то гасит, то раздувает румянец щек, от ножки, бегляночки из-под платья. О, тогда кровь моя пенится и брызжет в голову, как шампанское, падучие звезды крестят в глазах, громко бьются все пульсы! Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и сжечь тебя поцелуями, задушить на сердце! И потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение, в доброту без границ. Каждое дыхание принимаю я тогда как подарок; могу снести обиду без гнева. Ты говоришь мне, Лилия, и твои слова звучат словно родная песня на чужбине. Ты поешь, и я слушаю со слезами то, что поешь ты с улыбкою. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твое приближение не слухом и не глазом, – нет! какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу; оглядываюсь – это ты, Лилия, легкая, прелестная, неуловимая, подобная видению прерванного сна поэта!..

Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения; я ненавижу этих чародеев, этих коварных Армид [25]! Они бог весть куда заносят сердце в мыльном своем пузыре, мыкают его сквозь тридевять чудес и высаживают на берег, на котором все возможно, кроме полного наслаждения, где счастье убегает уст, как волны сураба[26]. Добрая ночь! – говорила ты прощаясь? Но думала ль ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами бури в грудь мою? Счастливица! ты не ведаешь, засыпая без тоски и пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу! какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали мое сердце! То одеяло тяготело надо

мною как свинец, то постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем. И все ты, Лилия, носилась перед очами души неотступно по черной туче ночи и сквозь алый полусвет зари, ты, очарова-тельница, со своей холодной красотою, с кудрями, веющими около словно колосья северного сияния, с улыбкою словно луч месяца, играющий по льду, с голубыми вечно кроткими очами...

Но я пробужден жаждою, неутомимою жаждою неги... Куда ж ты скрылась, Лилия? Где ж найду ответ любви моей? Воля моя не сблизит с тобою; самый сон не может придать тебе пылкости. Внушать, а не делить любовь рождена ты, а я хочу целого Юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счетные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли, – пить не напиться! О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей, дайте уст, которых ароматное дыхание упоет пламенем, дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета, дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как спасение друга, дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улечивают тело в душу, уносят душу в небо!., долгих поцелуев с трепетом страсти, с нежными угрызениями! Испытала ль ты, Лилия, всю сладость поцелуя, эту высокую поэзию чувств, это девственное, хотя не душевное наслаждение, не отравляемое ни страхом, ни раскаянием, – наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания блаженства; миг, в который ощущение разнообразно, воздушно, как мысль, и сладостно, как самозабвенье; святыня, которою творец подарил одного человека? Да, Лилия! полюби меня, как я люблю, и ты разделишь со мною эту роскошную тайну, сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения, кроме своей стыдливости. Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба, и каждая искра его вспыхнет на тебе новою прелестью.

Второй Пигмалион, я...

Я безумствую.

Скорее можно одушевить мрамор, чем лед!..

Впрочем, у полюса не бывает лета: зато есть вулканы!..

Тихие воды глубоки!

Что, если?..

Пустая надежда – родовое имение глупцов!

Молчи, молчи, бедный разум.

Сентября, – дня, 1834.

Крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуражировка[27] была очень удачна; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга из пистолета; он кинулся на меня с шашкою, но заряд иголок вместо пули прошел кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку[28], Адли-Гиреку. «Надо бить зверя, не портя шкурки», – говорил он; чертовская расчетливость!

Насилу дочел сейчас четвертую песнь Дантова[29] «Paradiso»[30]. Отчего так пышен твой «Ад» мучениями и так скучен твой «Рай» иносказаниями, padre Dante?[31] Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы[32] и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавными В son ICE[33] подразумевал владычество Австрийской империи (ведь он был

проповедником и пророком ее в своей родине!). Едва ли тот, кто написал:

Beatrice mi guardo con gli occhi pieni

Di faville di amor, cost divini,

Che, vinta mia virtù diedi le reni,

E quasi mi perdei con gli occhi chini.

Беатриса глядела на меня очами, полными столь божественных искр любви, что моя твердость предалась бегству; даже потупленные взоры ее меня мертвили! – едва ли, говорю, он мыслил об отвлеченностях и посылал свои огнепернагие стрелы на ветер! Впрочем, воображение поэта всеильно: оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду губы на слитке.

Вследствие сего я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок, – а этот человек едва ли не сам я, – что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный неосязаемый ангел.

Кстати об аде: научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли? О самолюбие, самолюбие, где ты не повторяешь себя! в чем не находишь своего микрокосма и тождества. Однако ж и рай в сердце человека, а он ищет его над головою.

...Отдай мой рай, отдай мой ад,

Отдай мне молодость назад!

Вечером, день после.

Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по ним грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?.. Там он не на земле, но уже выше земли, в природе, но уже обнимает природу сверху и широким обзором. Хребет гор – достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда, – только в девственной ризе снегов держат земное величие всходить на небо: прекрасный иероглиф довечного завета, что только чистой душе дано вкусить неба, душе, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила твой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения!

Нет, я не достоин вас, главы Кавказа! Моя одежда не снег бесстрастия, а грозное облако...

Но орел ширяется выше туч, а он младший брат моей мысли: ей нет высоты педолевой.

Я ваш поклонник, если не гость, любимцы солнца! Вам дарит оно первый росистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы по заре и по сумеркам; вами люблю, когда золотое солнце и звезды серебряные горят на голубом щите неба.

Свежи цветы твои, Кавказ, живительны ключи, дубровы тенисты; но не одно величие твоих огромных, не одна прелесть растений, не только удалство твоих детей заманивают к тебе: нет, пылкий ум любит тебя как уют столь дивных тайн, столь высоких дум!.. Воображение силится понять рев водопадов и шепот пещер, разверзающих как сфинкс гортань свою, хочет выкопать из циклопических гробниц[34] имена стлевших там героев, взглянуться, в туманном зеркале древности, в лица давно мелькнувших поколений, может быть предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как надгробья над веками хаоса, чудную летопись мирозданья.

Гляжу на перламутровую цепь гор – и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра[35]. Холмы – бархат ковров хорасанских[36]; ледники, граненные как хрусталь воображения; зубчатые, волнистые вершины – прелестная корона земли, затаившая в себе все звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь дымку отдаления, – и вот исчезло, и вот возникло опять бледной радугой облаков, – и не облака ль это столпились горами? не горы ли разлетаются подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично: высокий идеал романтизма!

Очень люблю Кавказ, люблю мою родину, люблю тебя, Лилия, – и как люблю! Но в созерцании гор, – не знаю, чем это делается, – сплавлено для меня все мое бывшее, настоящее и будущее. Вот кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по утесам, и звезды брызжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравленые[37], узорчатые башенки его распускаются в высоте золотыми маковками. А там, а здесь, вблизи и вдалеке, перед глазами и в сердце, опять ты, очарова-тельница, – всегда ты!

Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра – два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую; недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом...

Обнаженная жизнь моя – такой же оловянный, как она сама; живой, я свылся уже с ночью и с сыростью могилы. Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршества в благоуханном фалерне[38], у кого перед очами летает вереница надежд; а у меня одно забытие – наслаждение, одно сомнение – надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствия, а в пору злополучия – мечты; но судьба давно пожрала первенцев моего сердца, – а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа! Разлука передо мной, и около, и за мною – горькая разлука с родиной, с радостями жизни, с милою душею. И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда еще ценил жизнь, когда желал расцвести, увенчать ее? Что же остается мне делать теперь, когда я презираю существование более, чем сперва презирал гибель? Со всем тем пример самопожертвования и бесстрашия живет долго, заслуга – всегда. Пример – самое красноречивое убеждение и самый одушевительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других, но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя, как обрывок знамени.

Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают в Абин[39]... Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги – из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль и воображение? Мало ему луча небесного; надобно, чтобы он отражался под известным углом.

В цветущее время Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям: пример, достойный подражания и уваженья, сказал бы я, если б не знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник бога правды, как не защитою слабого от сильного, как не карою вредного преступления? Суд не работа, а священный долг перед богом и людьми.

Несчастлива? Ты несчастна? Кто ж после этого поверит всем залогам и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может осчастливить каждого, не имеет сама крохи счастья! Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронзающие душу. Среди резвого разговора находили на тебя мгновения невыразимой грусти: я уловил, я угадал это пролетное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы, – они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастлива! Эта дума вырывает из груди сердце. О, если б я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил ее для тебя безраздумно, бескорыстно, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты украдкой плачешь теперь, и я не могу улелеять тебя в радость, погасить лобзанием очи, горящие слезами, развеять вздохами печаль! Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя – это просто мука! И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня, – ведь сердца несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться одно в другое! – чем отплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорожденной любви?... Пепел и грезы! Нет, Лилия, тысячу раз нет! Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твое спокойствие для меня священо. Я ли подарю тебя, взамен житейских горестей, мертвящею тоскою разлуки, я ль, который падаю под ее терновым венком, несокрушимый прежде под жезлом судьбы! Мне бы отрадно было подать, пожать тебе руку, отклонить, притупить собою шипы на пути твоей жизни, устлать ее любовью, укрыть, согреть тебя душою своею в зиме света, – и что ж? – раз только встретились дороги наши и бегут врознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы, очи мои, как тюремные окна, уста безмолвны, как могила! Истлевай, сердце, без дыма и пламени!

Мило негует роза вешняя с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но химик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли – уголь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце, – и на земле уж все мое, думает он, – и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера, – и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!

И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреде предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем – счастье; я буду откровеннее, – или подробнее, – я переведу слово счастье словом наслаждение в трех лицах – любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя – легион!

Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим; поклонись мне – и все твое!» Какой смертный возразит ему: «Vade

retro, Satana»?[40] Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Роковой баламут подобран[41], по она хочет заманить неопытных. Сонико[42] – и раз за разом падают валеты и дамы налево! Первый банк сорван.

Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце – яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник – мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев своей Элеоноры[43]. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы, у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пакует себя в английское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом, жуют его сердце. Не шамбертен[44] он их потчует, а своею кровью; наливает – и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, собирается проглотить целиком всю Индию, – и что ж? – захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями – и лопнул, он банкрот! А там мятежный честолубец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила копят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекеш[45], а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры, – непременно тем самым. А между тем есть цветы, девственные как розы денницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.

Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть брэнная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова спасителя. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремится былинку к родной былинке и произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества,

внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста предвечного!!!

И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствоваться такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею – поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельною жизнью, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!

Трансценденталисты[46] находят в человеке сокращение всего мира. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим, а взорам звезды – звезды, каких не видал до сих пор «вдовый край Севера»[47]. Станешь ли – и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь – и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые губки – полуразверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повеваем зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвести улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.

Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желанья, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом – этим палачом воображенья! Долой с моего сердца, холодная его рука! Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще не поблеклым крылом своим.

Да! грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах, как о покойниках, всегда хорошо? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые пути дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, снедает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..

2 октября. Ночь.

Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна: порой, оттаянные думою или звуками, они пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росой падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зарею, – и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золотобронных облаков. Они быстрым лѐтом теснили, преследовали убегающее светило, – и постепенно

померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет, – и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы заставшего солнца, – и никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня – заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!

In questi voci lanquide risuona

Uu no so che di flebile e soave,

Ch'al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza

E gli occhi a lagrimar gl'invoglia e sforza.

В тех звуках томных отзывалось, не знаю, что-то грустное и усладительное! Они проникали в сердце, они снимали с него всякое огорчение, охотили и неволили очи к слезам.

Данте

Плакал и я, невольно и охотно плакал. Слезы утолили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и пища. В такие часы люблю я напевать задушевные строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты[48] Ариоста[49], Муровы мелодии[50], даже стихи Вальтера Скотта[51] из «Красавицы озера» или «Последней песни барда». В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно, льются как масло олив, подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх, зыблется и дремлет, лелеемое волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслию, созвучие – ребяческая игрушка.

Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвилась высоко, прямо и с ударом рассыпалась блесками по облаку. За ней взревела зоревая пушка[52], и все ущелия откликнулись ей, стеная. Затих последний перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонек и на миг озарял белые полосы палаток и черные коновязей, или знамена, положенные вкось на барабаны, или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из Макбетова котла[53], улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик: «слушай!» обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это, – и кто ему внемлет, кроме часовых? Враг подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит «слушай», а нам лень поднять голову. Беда, наконец, застаёт нас врасплох, – и мы давай плакаться на судьбу! Воля у человека не часовой, а вестовой – вечно на побегушках для его прихотей, никогда или почти никогда для пользы.

Облака сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки нигде; со всем тем ночь свежа и тиха; ночь, желанная для счастливых любовников. Не знаю, право, кому взошло в голову

расхваливать одиночество ночи, когда она выдумана для взаимных радостей, для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви! Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право, – лучшая половина жизни. Разумеется, я прибавляю к этому небольшое условие *sine qua non*[54], за неявкой которого со вздохом опускаю голову на седло и поневоле делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу:

Морфей, до утра дай отраду[55] Моей мучительной любви! Приди, задуй мою лампаду, Мои мечты благослови.

Назавтра.

Грудь на груди мать сырой земли засыпал я вчера, и она тихо, тихо дышала мне свежестью, между тем как доброе небо растворяло воздух росой, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные, безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузло в сон глубокий, плотный, крепкий сон, каким могут спать одни праведники и солдаты.

И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, только вдруг пробужден был содроганием и гулом земли. Прислушиваюсь, поднявшись на руку: так и есть – это быстрая прыть атаки! Скачут кругом, рассыпаются врознь, – ближе, ближе, вот стопчут палатку! У меня занялся дух: это черкесы! Я вскочил (ночуем мы всегда одетые) и вооружился. Бужу своего товарища: он спит как убитый.

– Валериян Петрович, слышите ли?

– Слышу, – отвечает он впросонках, – пора и нам, фуражировка сказана в три часа; верно, казаки собираются!

– Нет, это не казаки! Какой черт смел бы строить полки в галоп, и в такую темь, и в лагере, собираясь для тайного набега!

Говорю, а он уж храпит. Я выскочил из палатки... Сердце так и бьется. Все тихо, а ночь темнее, непроницаемое чугуна. И вот опять загудела, загрохотала земля, как бубен, под копытами тысячи коней. Ну вот, кажется, ринулись мимо: хвосты пашут холодом, пена летит в лицо с их удил, шашки сверкают в трех шагах; но почему ж нигде ни выстрела, почему нет дикого крика азиатского натиска, нет барабана тревоги? Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решились железом изгубить сонных?.. Пойдите! Там, кажется, крикнули: «В ружье!» Нет, это оклик: «Рунд[56] мимо!..»

И тяжкий гром разразился над горами... Молния хлынула морем. А, понимаю теперь, это гроза! Но никогда обман не был так полон и вероятен: я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И мог ли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да еще какую грозу? Ужас! С первого удара целый час не прерывался гром ни на одно мгновение. Он кипел и клокотал подобно аду, сливая в один лютый рев все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал еще ярче поток молнии, стрелял новый гром с оглушающим треском, – мнилось видеть пролет необъятного ангела разрушения с крыльями из туч, следить размахи жар-меча его, рассекающие Кавказ до сердца; мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к Страшному, последнему суду. В самом деле, всякий раз, что взрыв перуна озарял

заснеженные верхи гор, они проявлялись на миг, как толпы мертвецов великанов в белых саванах, – и потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая леденящим кровь стенанием на грозный удар осуждения, – стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробежал по всем жилам земли и скалы скрежетали от ужаса.

Постепенно холодело и во мне сердце; молнии зажигались снопами по теменам далеких гор и разгорались, как извержения вулканов; буйный вихорь крутил и бросал капли крупнее винограда, а потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе; земля колебалась и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпеи[57]... «Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы!» – думал я, и думал это не в шутку: гроза бушевала все ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не расскажу про думы, которые волновали меня в этот час: люди мне не поверят, а бог меня видел сам. Скажу одно: в ту минуту, когда я убедился, что все меня окружающее должно через миг разлететься вдребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание – погибнуть вместе с Лилиею, прижать ее в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и земле крушения!..

К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера.

12 октября.

Я тоскую, здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моем сердце, и нет друга, нет родного вблизи, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество, этот воздух чужбины душат меня, – сегодня втрое, чем когда-нибудь, – необычайно!.. Шапсуги[58] дрались на славу – отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон; много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла: отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступные прежде утесы. Задыхаясь, весь в поту, насилу вскарабкался я на круть и сел под дерево, Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами, глаза настороже, и палец на курке. Солнце, болезненное осенью, лишь повременно бросало свои бледные лучи в глубину дикого, необитаемого угце-лия, по обеим сторонам которого мы тянулись. Облака стадились по хребтам Маркотча[59]; горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову, – грустная и отрадная вместе она была: мне недолго жить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простираю руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет: у меня бездна призывает бездну!..

Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по камням, ограненным вешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх, – дикий кипарис, опухало мертвецов, простираю на меня венок из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:

O lady, twine not wreath for mee,
Or twine it of the cypress-tree![60]

Везде зачатки смерти, везде кровь и траур... но почему я впервые заметил это?

Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узпал о нем. Отравленный напиток – воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего, – и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Ели ж паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, – я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой.

Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!

Но неужели вы забудете, заклепете в колоду и это бедное сердце – сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораздо после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихией ».

И развеите пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.

И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею... О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!

Ничто не гибнет в природе, умирая, – ничто! Не погибнет и лучшая половина меня самого – душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему ж нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твоё падение, – теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.

Когда ж не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, как я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастья, – а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить.

Ненасытны, беспредельны были мои желания в жизни, – и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия, – за все мои страдания, – как единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как эта слеза! Будь счастлива, Лилия... счастлива и за гробом!

Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.

14 октября.

В один короткий, осенний день сколько разных ощущение-пий! Они наподхват вырывали друг у

друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребления, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытались передавить нас огромными камнями, скатывая их с крутин, – и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернотю теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими уютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом воины, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.

Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужасию велиею, и якся бегу, и о прочем». Не шутя, сегодняшней вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.

Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостцой Г – м и привести оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взморью у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По сказам проводника, оставалось еще версты четыре до Г – а, а ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было поберечь раненых, которых везли мы верхом, перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепостцу о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали кипучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багряном», словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадрили на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.

– Тюрк-Абат, катнем вперед!

– Аллах койма сын (да не попустит бог)! – отвечал он. – У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками вьются около каждого отряда, и чуть удались кто за стрелков – цап-царап, да и на аркан раба божьего!

Я возразил:

– Натухайцы[61] слабее других горцев, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а уж, конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.

– Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников, – отвечал Тюрк-Абат, – а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозору?

В инструкции полковникам «О кареях против турецкой кавалерии», данной стариком Каменским[62], между прочими, чрезвычайно дельными замечаниями сказано: «Пехота, которая вышлет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать о рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от ариергарда, они налетят как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб вырастут из-под земли. «Все это так, – думал я, – однако

ж мне удавались и не этикие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».

Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:

– Нет, достум (нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади – нет.

Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:

– Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет[63] был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафтана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведаль, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.

– Поехать легко, – возразил хладнокровный азия-тец, – но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь – любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!

Le coquin a frappe juste[64]. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдаль раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стремянах: нет как нет крепости, – она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки, – спит себе и не подаст голоса. И вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелятся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе, и сбрасывают, наконец, свой оптический наряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, тот прыщет в лицо холодной росой, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель[65], заземленный туда за проказы. Лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведьм[66]... И вдруг вдаль передо мною брызнула синяя искра – верно, блудящий огонек.

– Эй, приятель! – закричал я ему словами Мефистофеля, – посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром!

Нет, это не блудящий огонек, не светляк зажигает свою искру на листке, это не вечерняя звездочка на краю небосклона: она искрится, разбрасывает лучи, расцветает, – вспыхнула! Бог мой, как это прелестно! Это яркий фалшфейер[67] на люгере в привет братьям русским.

Вообразите себе зажженный яхонт над прозрачною зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим и корабль, на котором сиял, и волшебный круг из двух бездн – воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими камнями, а самое тело люгера вылито из цветного хрусталя; казалось, весь он зыблется, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И вмиг все погасло, все исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого виденья, направляю туда бег свой, посылаю взор за взором в погоню, скачу; и вдруг конь мой стал, храпя, и, фыркая, уперся, испуганный плеском моря, которого не видал он сроду. Роняю взоры вниз: новое очарование! Все

прибрежье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плитный берег, сверкали зубчатыми гребешками своими, ударяли в грудь камней и рассыпались на них огнем и звуками, как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, всполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне; и каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так что виднелись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отрадная свежесть веяла с них... Скажите, могли я в такую пору думать об опасностях? Я ехал вдоль берега на волю коня. Говорят, замерзающие, после грызущих мук, впадают в сладкую, неодолимую дремоту оцепенения. Со мной совершалось то же самое... Душа из ледяных объятий света падала на лоно бесчувствия; все чувства растекались забвением ничтожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под ногами белые камни, словно черепа на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа собратий-мертвецов! Не таков ли сон вечности? Дайте ж мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи. Пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать, долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья.

Но криком войны был пробужден я: как призраки, возникли передо мной черкесы и, восклицая: «Гяур! ай гяур!» – кинулись с обнаженными шашками наперерез. Я обомлел от ужаса: мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте; я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился как стрела с тетивы.

У римлян был закон для воинов: одного врага – победить, на двух – нападать, от троих – защищаться, от четверых позволяется бежать. Я бежал от семерых по крайней мере; бежал не смерти, а позорного плепа, – и в первый раз в жизни, – но все-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды[68] не стоит: это был явный пример самовластия тела над волею, и этим еще не кончилось. Я скакал целиком, сквозь терн, через камни и рытвины; и вот, в сотне шагов от места роковой встречи конь мой перепрыгнул через ложе иссохшего потока, поскользнулся на голом камне – и я брык с ним через голову.

Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства! Конь придавил меня под собою, а между тем крики: «Гяур! гяур!» жужжали за мной вместе с пулями. Лежа, взвожу курок; наконец удается мне вскочить на ноги, и первым моим движением было приложиться навстречу врагам, чтоб продать им не иначе душу как за душу; но они медлят, они пешком. К счастью, я не выпустил из рук повода. Тороплюсь сесть; конь не дается, бьет, становится на дыбы. Вздор, ты не уйдешь от меня! Полмига после я уже несся во весь опор к отряду; но там ждала меня новая певзгода. Стрелки, услышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штыки уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик: «Стрелки, свой идет!»

Это было мое первое, надеюсь и последнее, знакомство со страхом.

Пишу эти строки под кровлею. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлею! Удалось – и я жалею о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетет; грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мертвым, а эта комната – настоящий гроб.

Четыре дня потом.

Показалась кровь горлом – повестка адской почты! Зовут на получение савана... Не замедлю я, не замедлю! Мне бы не хотелось, однако ж, чтобы Лилия видела меня – в таком наряде. Женщины очень любят мундиры, за исключением кирасирского[69] мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека!

Хочу и не могу быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен! На расставанье оп, подобно коварной любовнице, удвояет нежность, осыпает ласками, является младенчески невинным, плачет неутешно, не хочет выпустить из объятий. Бессердечная прелестница, что сделала ты с моею любовью? А теперь хочешь возбудить мое сожаленье! Великолепная твоя гостиная была для меня пыталней. Не гостем, а мучеником скитался я на твоих пирах. Не для меня там кипели чаши радостей; все блага обносились мимо, *Voir n'est pas avoir*. [70]

Братья люди, братья Иосифа[71]! один завет вам: не продавайте своего меньшего ей за хлеб в час голода, ниг за пряники в праздник. Тяжка ему работа египетская, но вы позавидуете ей на смертной своей постеле.

...Едва ли не Наполеон отвечал на вопрос, какую смерть желал бы он себе: «Самую скорую и самую неожиданную!» Это значит – не надеяться ни на тело, ни на душу. Что за воин, который страшится долгого боя!

Кажется, 23 октября; рано.

Бьют поход! Шапсуги грозно скликаются по вершинам: быть горячей схватке; и я рад атому. Сегодня я бодр и весел необыкновенно. Луч утра стопил долой с сердца весь свинец горя; рука сама хватается за шашку. Вид – чудо: заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы, а котел ущелия, в котором таится наш стан, все еще темен и дымен; люди бродят как тени по туманному берегу Стикса[72]; обнаженные деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночь. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятьях.

Утесы-великаны уперлись грудь с грудью, в плитных латах, заржавленных веками, спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса, – и все это вздор для русского. Захотели – и притоптали стремнины в широкую дорогу, накинули мосты на пропасти; и с хребта на хребет, с дива на диво пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины: не спрятаться им в облаках! Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба.

Никогда еще с таким томленьем не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свиданье; кажется, я куплю ее взаимность моею кровью.

Чего ж медлят? что ж не ревут и не прядают по скалам паши горные единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки: только ее обаятельный вихорь может сравниться с упоеньем любви. Были минуты, когда, изнемогая от полноты счастья, прильнув устами к груди прекрасной, невольно роптал я: «теперь бы сладко умереть». Сладко умереть и на груди славы... умереть теперь же, в этот миг!.. Лил...

То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце. Его тайны легли с ним в гроб: немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть обрывает их злословие или участие лелеет: ни для друзей, ни для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равно гибельны в жизни; зачем же я брошу в их треволение память друга? А сколько ума, сколько познания насыпано

там! Какую теплою любовью к человечеству все это согрето! Но пусть все это не имело бы никакой цены для словесного богатства человека: его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в веселую пору, он не покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним, как нежная мать, сносил все причуды, как самый покорный служка. Его рука и кошелек были открыты для каждого: никто не удалялся от его порога с тяжелым словом нет! Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его в жаркой битве? Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством?

И мы схоронили юношу, возвратясь в Г – н, схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Черного моря. Кровью залилось мое сердце, когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы... Земля поглотила свое лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Все кончилось! Все уж было пусто, когда я очнулся от бесслезных рыданий над могилою достойного друга: только море шумело; только ветер уносил к небу струйки фимиама с кадила вместе с облаком порохового дыма от почетной пальбы. «Вот жизнь и смерть его», – подумал я.

Примечания

1

Он был убит. Впервые – в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XII, за подписью: А. Марлинский, второй отрывок – 1836, т. XV, за подписью: А. Бестужев, в серии «Кавказские очерки». Текст 1-го отрывка печатается по автографу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 69, ед. хр. 10.

2

Феникс – в древнегреческой мифологии птица, способная возрождаться из пепла после сожжения.

3

Чингисхан Темучин (ок. 1155 – 1227 гг.) – основатель единого Монгольского государства, полководец.

4

Ванька Каин – известный московский вор, грабитель; в 1755 г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой; существовало много его жизнеописаний, иногда в форме автобиографии.

5

...мечом Дамокла грозитя пасть на все живое. – По древнегреческому преданию, сиракузский тиран Дионисий подвесил на конском волосе над головой завидовавшего ему Дамокла острый меч. Здесь: «дамоклов меч» – постоянно грозящая опасность.

6

...подобно Гамлетовым еробокопам? – Имеется в виду сцена с могильщиком в «Гамлете» (1601) В. Шекспира.

7

...куски Геркулесовой кожи... – По греческой мифологии, жена Геркулеса из ревности послала ему плащ, пропитанный ядом. Чувствуя ужасную боль, срывая одежду и узнав о неизбежной смерти, Геркулес велел сжечь себя на костре, в результате чего вознесся в сонм олимпийских богов.

8

...будь халифом хотя на час... – «Халиф (калиф) на час» – так называют человека, на короткое время наделенного властью, – из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

9

...поэт, гость вельможи, есть уже слуга его...гость высшего света, – его игрушка? – Речь идет о стихотворении Пушкина «К вельможе» (1830), адресованном князю Н. Б. Юсупову (1750 – 1831). Это стихотворение вызвало несправедливые нападки на Пушкина Н. А. Полевого на страницах «Московского телеграфа». Поэта обвиняли в низкопоклонстве перед знатью.

10

Меценат (лат.) – богатый покровитель наук и искусств, по имени римского богача, жившего в I в. до н. э., широко покровительствовавшего поэтам и художникам.

11

...я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы? – По библейскому преданию, Исав, старший сын патриарха Исаака, продал за чечевичную похлебку своему младшему брату-близнецу Иакову право первородства, дававшее особые преимущества. Здесь: за что-нибудь ничтожное отдано что-то очень ценное.

12

Россини Джоаккино Антонио (1792 – 1868) – итальянский композитор.

13

...из обломков Китайской стены... – Китайская стена в древности отделяла Китай от Монголии.

14

Это литературная вершина (фр.)

15

...к какой школе принадлежит... к горной или озерной? – Здесь иронически говорится о группе известных английских романтиков начала XIX в., в которую входили Вордсворт, Кольридж, Саути. Ее называли «Озерной школой».

16

Саламандра – земноводная ящерица, по преданию, не горящая в огне. По средневековым поверьям, сказочные духи живут в огне и олицетворяют стихию огня.

17

Кунсткамера (нем.) – бессистемное собрание разнообразных редкостей, диковинок, а также помещение для такого собрания.

18

«Что слава? Яркая заплата...» – неточная строфа из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

19

Гальванизм – по имени основателя учения о постоянном электрическом токе итальянского ученого Гальвани (1737 – 1798).

20

...с рукавами и la jolle – то есть фантастического фасона.

21

Протей любезности. – Протей, в древнегреческой мифологии, морское божество, обладающее способностью изменять свой вид; здесь: что-то непостоянное.

22

Маммон, Маммона – по древней мифологии, бог богатства и наживы у древних сирийцев.

23

Не воскресить юности дождем Данаи. – По греческой мифологии, Зевс, пленившись красотой

Данаи, дочери аргосского царя Акрисия, явился к ней в виде золотого дождя.

24

Гривна – монета в десять копеек, денежная единица в Древней Руси.

25

Армида – волшебница, героиня поэмы великого итальянского поэта Торквато Тассо (1544 – 1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580).

26

Сураб (араб.) – подземелье.

27

Фуражировка – заготовка для войсковых частей продовольствия и фуража (корма), хранение и выдача их.

28

Абрек – в эпоху завоевания Кавказа русскими – горец-партизан; позднее – горец-разбойник на Кавказе.

29

Дантов «Paradiso» – «Рай», третья часть «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265 – 1321), великого итальянского поэта.

30

«Рай» (ит.)

31

Отец Данте (ит.)

32

Беатриче (Беатриса) – возлюбленная Данте, которую он воспевал в юношеских стихах, сонетах и «Божественной комедии».

33

«Б» с окончанием «иче» (ит.)

34

...из циклопееанских гробниц... – Имеются в виду египетские пирамиды, гробницы фараонов (от греч. *κυκλωπεις* – круглоглазый, переносное значение – огромный).

35

Тигр – река, протекающая в Турции и Ираке.

36

...бархат ковров хорасанских... – Хорасан – в III – сер. XVIII в. область на Среднем Востоке (часть Ирана, часть Туркмении, часть Афганистана), очень развитая в экономическом отношении; славилась ткачеством.

37

Муравленный – покрытый глазурью.

38

...роза пиршества в благоуханном фалерне... – Фалерн – название виноградного вина, производившегося в древней Италии в Фалернской области.

39

Абин – река в Северной Италии.

40

Изыди, Сатана (лат.)

41

Роковой баламут подобран... – то есть карты растасованы шулерским способом.

42

Соника (фр.) – в азартных карточных играх выигрыш или проигрыш с первой ставки.

43

...с жажды поцелуев своей Элеоноры. – Имеется в виду герцогиня Элеонора д'Эсте, в которую был влюблен Торквато Тассо.

44

Не шамбертенон он их потчует... – Шамбертеи – французская деревня, славившаяся своим

ВИНОМ.

45

Бекеша (венг.) – старинное долгополое пальто.

46

Трансценденталисты – представители идеалистической философии, отстаивавшие идею о «потустороннем» мире, недоступном познанию.

47

Settentrional vedovo sito. Dante, «Purgatorio» (Данте, «Чистилище» (ит.)). (Примеч. автора.)

48

Терцет – стихотворная строфа из трех строк.

49

Ариосто Лудовико (1474 – 1533) – итальянский поэт, автор героической рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» (1516).

50

...Муровы мелодии... – Томас Мур (1779 – 1852) – английский поэт, автор «Ирландских мелодий» (5 томов, 1807 – 1834).

51

...стихи Вальтера Скотта... – Имеются в виду поэмы В. Скотта «Песнь последнего менестреля» («The Lay of the Last Minstrel», 1805) и «Дева озера» («The Lady of the Lake», 1810).

52

...зоревая пушка... – пушка, посредством которой бьют зорю, возвещают о наступлении зари.

53

...духи из Макбетова котла... – Речь идет об эпизоде из трагедии В. Шекспира «Макбет» (1606).

54

Непременное (лат.)

55

«Морфей, до утра дай отраду...» – таз стихотворения Пушкина «К Морфею» (1816).

56

Рунд – помощник дежурного по караулам; здесь: ночной обход караулов.

57

Помпея – город в Италии, который был разрушен в результате извержения Везувия в 79 г.

58

Шапсуги – в прошлом одно из адыгейских племен, живущее ныне в Адыгейской автономной области и в Краснодарском крае.

59

Маркотча и Атакваф – небольшие реки в Дагостане.

60

Не вей, красавица, для меня венка или свей его из веток кипарисных. (Пер. автора.)

61

Натухайцы – одно из горских племен.

62

Каменский Михаил Федотович, граф (1738 – 1809) – генерал-фельдмаршал.

63

Магомет – пророк, по арабским преданиям основатель в VII в. исламской (мусульманской) религии, изложенной в Коране.

64

Плут нанес удар метко (Фр.)

65

Пук и Ариель – герои комедии Шекспира «Буря».

66

...карикатурами Гетевого шабаша ведьм... – Имеются в виду пляски ведьм в сцене «Вальпургиева ночь» из «Фауста» Гете.

67

Фалшфейер (фальшфейер; нем.) – См. коммент. к с. 341 тома I.

68

Полуда – сплав для лужения, луда; здесь: вещь очень незначительной ценности.

69

Кирасиры – кавалеристы, носившие кирасы, то есть металлические латы, защищавшие спину и грудь от ударов.

70

Видеть не значит иметь (фр.)

71

...братья Иосифа! – Имеется в виду Иосиф Прекрасный, проданный, по библейским преданиям, братьями в рабство в Египет вельможе фараона; жена вельможи пыталась обольстить юного Иосифа.

72

Стикс – в древнегреческой мифологии одна из рек «подземного царства», за которой обитали

души умерших.